

Дневник Натальи

Автор:

Ирина Муравьева

Дневник Натальи

Ирина Лазаревна Муравьева

Ирина Муравьева

Дневник Натальи

* * *

15 апреля. Нюра не ночевала дома и пришла в три. Выглядит ужасно: с черными мешками под глазами, измученная. Я смотрю на нее и думаю: что делать? Попробовать опять поговорить с ней? Но сколько можно разговаривать? Она ведь меня не слышит. Никто меня не слышит, кроме Тролля. Иногда приходит в голову, что, не будь на свете Тролля, я была бы ничем не связана. А так – нельзя, он без меня погибнет. Зимой – никогда не забуду – я шла по Смоленской и увидела такое, от чего во мне вся кровь остановилась: свора собак, совершенно одичавших, загнала под машину кошку. Окружили эту машину и сидят. Ждут, пока кошка не выдержит. Минут через пятнадцать кошка выползла – наверное, очень старая, больная, ей уже было все равно. Собаки набросились на нее и разорвали. Люди, которые шли мимо, все отвернулись, никто даже не приостановился, кроме меня.

Тролля – мое счастье, мое тепло. Как он вылизывает мне лицо и руки и мои старые ноги, ужасные старые ноги в тапках!

Может быть, кстати, с ног-то все и началось. В прошлом году мы с Феликсом собрались на дачу к Щ., которого я никогда не любила, но ради Феликса терпела, хотя мне давно казалось, что он шпана, обыкновенная номенклатурная шпана, несмотря на свою знаменитость. И пьесы, которые он пишет, – отвратительное вранье. Возвышенные дамочки в белых шляпах попадают в сомнительные ситуации. Причем за границей, чаще всего в Италии.

Я, наверное, завидую. Иногда я ловлю себя на мысли, что я завидую очень многим: молодым и красивым женщинам, которые проходят мимо по улице, подругам, уехавшим в Америку, завидую умершим...

Мы сели в машину, чтобы ехать к Щ., и вдруг Феликс увидел мои ноги в сиреневых босоножках. Он сморщился, словно проглотил комара, и спросил:

– Скажи, пожалуйста, это что, такая проблема – сделать педикюр?

Я взглянула на себя его глазами. На всю себя – как говорил поэт, «от гребенок до ног». И ужаснулась. Потому что: волосы сухие, вытравленные перекисью, стрижка плохая, шея – в перетяжках, как у гуся, под глазами – лодочки из сморщенной кожи, руки неухоженные. Я увидела старуху, легко раздражающуюся, с плотно сжатыми губами, тускло одетую, молчаливую (о чем говорить-то?), и поняла, что между нами все кончено. Я поняла, что он уже никогда не заметит ничего другого и всегда будет только это: шея, волосы, руки...

Я вылезла из машины, хлопнула дверью. И он быстро отъехал – словно бы с облегчением, словно боясь, чтобы я не передумала.

Мы давно живем молча, каждый сам по себе. У него – своя жизнь, у меня – своя. Существоем параллельно. Но когда меня уволили из института, оказалось, что у меня нет никакой своей жизни. Совсем никакой. Мне некуда стало уходить по утрам и неоткуда возвращаться вечером. Нюра явно тяготится тем, что я сижу дома и мешаю ей заниматься живописью (считается, что она у нас большая художница, вся в папочку!). Кроме того, я позволяю себе переживать за нее. Я переживаю, что она бросила институт, нигде не работает (так, случайные заказы: где рекламу подмалюет, где еще что), переживаю, что у нее богемные и непонятные мне знакомства, что она меняет любовников и часто не ночует дома. Мне все кажется, что ее вот-вот обидят, изуродуют или даже убьют, и часто я

часами простаиваю у окна, высматривая ее, когда наступает вечер.

Иногда на меня находят такие острые приступы любви к ней, что впору повеситься, лишь бы не видеть ее отравленного неудачами лица, не принюхиваться к табачному дыму, плывущему из нашей «детской».

Непонятно, кстати, вот что: почему сегодня, пятнадцатого апреля, я вдруг принялась записывать свою жизнь? Тоска, конечно...

Феликс встал часов в одиннадцать, наскоро выпил кофе и, не глядя на меня, сказал, что уходит на весь день в мастерскую. Я вывела Тролля, сходила в магазин, купила йогурт, хлеб и кислую капусту, сварила суп, и тут раздался звонок. Очень красивый грудной голос спросил Феликса. Я ответила, что его нет, но почему-то у меня заколотилось сердце, и я страшно разволновалась. Красивый голос усмехнулся, и в этой усмешке мне почудилось презрение. Тогда я сказала:

– Передать ему что-нибудь?

Вместо ответа она опять усмехнулась – еще презрительнее, но все же очень красиво, музыкально – и повесила трубку. Я набрала номер мастерской, но его там не было, длинные гудки. Я подождала минут двадцать, выпила валерьянки и опять набрала. Он подошел и закричал:

– Алло! Слушаю! Да!

Я помолчала от растерянности (никогда он так не кричит!) и говорю:

– Тебе тут какая-то женщина звонила...

– Да? – спросил он радостно. – Когда звонила?

– Только что, – спокойно сказала я. – Но ничего не просила передать...

Он, видно, справился со своей радостью:

– Ну, так что?..

– Ты собираешься домой? – спросила я.

– Я работаю, – сказал он со злобой. – Ты, наверное, забыла, что это такое?

Намеки! Он все время напоминает мне о моем безделье, все время говорит о том, что один все тянет. Как будто я виновата, что наш отдел закрыли и меня выставили на улицу! Как будто я виновата! И ведь он не только меня попрекает – прямо скажем – куском хлеба! Он все время ноет, что работает как лошадь, ни от чего не отказывается, хватается за все халтуры, чтобы нас прокормить, – он, великий театральный художник! А мы, неблагодарные, ничего не понимаем, загоняем его в могилу. И квартира, в которой мы живем, принадлежала его покойной матери, балерине Большого театра, она на свои деньги построила этот кооператив. А я (будь я разумной!) должна бы сдать дачу, доставшуюся мне от отца и деда. Дворянских гнезд больше не существует. Раз нужны деньги, значит, нечего хлюпать, а надо найти жильцов и сдать дачу. Это он так говорит, а я отмалчиваюсь. Дача формально принадлежит мне.

Сегодня я поняла, что он не просто изменяет, – а то я не догадывалась, что он мне изменяет! – сегодня я поняла, что он влюблен в кого-то, мучается, надеется, короче – у него открылось второе дыхание и моя песенка спета.

Нюра поела на кухне – тарелку не вымыла, спасибо не сказала, – заперлась в своей комнате и затихла. Я постояла у ее двери, прислушиваясь. Кажется, она рыдала в подушку, но, наверное, зажимала рот руками, потому что я различила только сдавленные «а-а-а», больше ничего.

Итак, у меня есть муж и дочь. Муж мой на старости лет влюбился, он при деле и ему не до меня. Дочь моя то ли не может влюбиться и рыдает в подушку, что приходится спать с кем попало (а как же иначе – гормоны!), то ли кто-то не отвечает ей взаимностью, и она от этого бесится. Но оба они – и муж, и дочь – живут, они живые, с ними что-то происходит, а я мешаюсь под ногами и ни одному из них не нужна. Я – мертвая.

У них заговор против меня. Заговор живых против мертвой, людей против тени. Между собой они перекидываются шуточками, Нюра целует отца в щеку, он ей показывает свои эскизы, и все это – мимо меня! Без меня! Поди прочь, тень! Старая, со старыми ногами.

Я ложусь спать, уже девять. С Троллем мы погуляли. Днем было тепло, а сейчас пошел редкий снег. Хорошо, пусть. Снег – пятнадцатого апреля, светопреставление.

Сердце колотится – того гляди выпрыгнет. Нюра из своей комнаты не выходит. Двенадцать часов ночи. Грохнула дверь лифта. Это Феликс.

16 апреля. Господи, прости меня. Прости, пожалей. Знаю, что все это заслуживаю, знаю. Сколько на мне всего!

Я всегда была скверной. С самого детства. Думаю, что это впервые обнаружилось тогда, когда из провинции приехала моя бабушка, мать отца. Дряхлая, почти слепая. В молодости была, как говорили, красавицей. И в старости красоты не утратила, несмотря на дряхлость. Лицо – сморщенное, крошечное, а нос и рот – кукольные. И глаза – хоть слепые – нежного голубого цвета, как завядшие незабудки. Эта несчастная бабушка, которую я едва знала, очень хотела остаться у нас и жить с нами – с моим отцом и со мной. Была еще горбатая домработница Таня, растившая меня после маминой смерти, но она не в счет. В провинции у приехавшей к нам бабушки была дочь, опереточная актриса, муж этой актрисы, полный идиот, трое одичавших внуков, толпы крикливых гостей, короче – никакого покоя. Дочь приносила с базара только что зарезанных кур в окровавленных перьях и говорила матери: «Ощипи и приготовь». Та ощипывала и варила. Ей, бедной, хотелось приютиться у сына в московской квартирке и дожить здесь, в райской тишине, остаток дней. Отец не мог ей отказать, но – и я это сразу учуяла! – ему было бы гораздо легче, если бы она уехала к себе в провинцию. Мужчине, одному воспитывающему девочку, перегруженному работой, страдающему бессонницей, взвалить на себя старую больную мать, выделить ей отдельную комнату, а самому перейти в мою детскую (Таня спала в кухне на кушетке) и не иметь ни минуты покоя! Ему очень хотелось, чтобы мать поняла все его трудности и уехала обратно к сестре, но она не понимала. Ласково бормоча что-то, бабушка разложила на столе и на подоконниках пестрые салфетки, выставила пузырьки с лекарствами, розовую, расколотую пополам пудреницу, гребенку, несколько шпилек и устроилась в кресле, готовясь провести так не только лето, но и всю жизнь.

И вот эту тихую голубоглазую бабушку – родную мать моего родного отца – я, одиннадцатилетняя девочка, выгнала из дома! То есть я ее, конечно, не выгнала. Я ей просто объяснила, как трудно живется папе с его бессонницей и как он нуждается в отдельной комнате. Я объясняла ей все это, краснея,

торопясь и волнуясь, а она слушала, понутив ярко-седую кудрявую голову и перебирая оборки своей старинной кофточки маленькими сморщенными пальцами. Когда я закончила, она крепко поцеловала меня и сказала, что, конечно, в первую очередь нужно думать о папином здоровье и о том, чтобы мне было где делать уроки, так что она уедет.

В конце лета она уехала, а через полгода умерла.

О, стыд мой! Подлый грех мой, от которого не отмыться! Я знаю, отчего Нюра, ничего и не слышавшая об этой истории, меня ненавидит! Вот за эту самую старуху, давшую жизнь моему отцу и, стало быть, мне и, стало быть, моей дочери. Я предала родную плоть и кровь, и мне воздалось, мне отомстилось от моей же родной плоти и крови.

Кто это сказал – Достоевский, что ли? – про закон крови на земле? Есть такой закон, точно.

Феликс меня, конечно, бросит, я это давно чувствую, особенно после вчерашнего грудного голоса в телефоне. Сколько ей лет? Тридцать?

24 апреля. Мы расстались с Феликсом. Он ушел. Я гляжу в одну точку и вою. Спокойно, спокойно, пиши дальше. Тебя бросил муж, с которым вы прожили двадцать шесть лет.

Случилось это в среду.

Я уже спала, и довольно крепко, так что даже видела сон.

Мне снилось, что я молода и на мне ситцевый сарафан, похожий на те, что носили в пятидесятые. Живу я в каком-то чуть ли не средневековом городе, обнесенном стеной. Город стоит высоко над морем, и на него постоянно нападают соседи. Чтобы обороняться от этих соседей, жители разводят в своем море особых змей – плоских и прозрачных, так что их не видно в воде. В городе запрет: несмотря на то что все, от глубоких стариков до грудных младенцев, знают о змеях, признаваться даже самому себе, что ты об этом знаешь, нельзя. Всякий, кто нарушает запрет, сразу умирает. И вот я, молодая, веселая, в ситцевом сарафане, срываюсь с берега и падаю в море. Змеи окружают меня и обматывают своими волокнами так, что я не могу шевельнуться. Я чувствую, что

это конец, знаю, но не кричу и не зову на помощь. Напротив, я изображаю, что мне было жарко и поэтому я решила искупаться.

Проснулась в холодном поту. Феликс стоял в дверях. Плащ и клетчатая кепочка были насквозь мокрыми, значит, шел дождь.

- Мне нужно поговорить с тобой, - сказал он. - Очень нужно поговорить.

И тут - о Господи, вот оно, наступило! - я повела себя как во сне, от которого едва опомнилась. Я забормотала о какой-то ерунде, быстро-быстро и очень дружелюбно, лишь бы не дать ему произнести, лишь бы протянуть время до смертного приговора. Я бормотала о том, что наш отдел вот-вот откроют, мне уже звонили и скоро я выйду на работу, так что он сможет плюнуть на свои халтуры и заняться любимым делом, я сетовала на то, что Нюра так редко бывает дома и мы почти перестали проводить время втроем, а это - согласись! - так важно, чтобы семья проводила время вместе, и пусть дочь давно выросла, все равно ей нужны родители, и мама, и папа - папа, может быть, чуточку больше, так как девочки вообще сильнее привязываются к отцам, отцовское влияние крепче... Я остановилась наконец, потому что мне не хватило воздуха.

- Наталья, - сказал он в кромешной тишине. - Я встретил другую женщину...

- О, какая дешевка! - завопила я. - Фраза из бульварного романа!

- Фразу я не буду с тобой обсуждать. - Он испуганно взглянул на меня. - Давай поговорим о деле.

Но я уже опомнилась. Надо было немедленно что-то предпринять. Нельзя отпускать его, нельзя!

- Послушай! - пролепетала я. - Зачем же так?

- Как - так? - спросил он.

- Зачем так жестоко? Не бросишь же ты нас, в конце концов! Мало ли что бывает у мужчин на стороне!

– Наталья, – сказал он глупым просящим голосом, – пойми, у меня другая женщина. Я ее люблю, вот в чем дело.

Кровь бросилась мне в голову.

– Какой же ты... – У меня тряслись губы, и слова застревали в горле. – Подонок ты, вот что! Грязный лысый подонок!

– А ты! – вдруг словно бы опомнился он и закричал так громко, что бедный Тролль выскочил из-под стола и уставился на нас. – А ты! Что я видел от тебя? Одни муки!

– Муки? – переспросила я. – Это ты-то говоришь про муки? Да вспомни хоть, сколько абортів я сделала, вспомни, через что я прошла! Муки!

– Мне, – закричал он еще громче, – мне твои аборты стоили не меньше, чем тебе! Я этот кошмар вспоминать боюсь! Когда бы я до тебя ни дотронулся, ты тут же начинала причитать, что опять залетела! И потом я вместе с тобой ждал этих чертовых месячных! Всю нашу жизнь я ждал твоих месячных!

– А кто виноват? – Я тоже кричала. – Кто виноват? Я что, от соседа залетала? Это были твои дети! Ты их делал, а потом требовал, чтобы их убивали! И платил за это! Да! Семьдесят рублей в конверте!

– Я уйду, – сказал он. – Чего-то самого главного нет в нашей жизни. Мы с тобой не договорились.

О, это было наше слово! Вернее, мое, которое он потом тоже начал трепать направо-налево! Я ему всегда говорила: «Мы с тобой договоримся» или (в хорошие минуты!): «Договорились?» Это было слово-пароль, и вот он теперь его вспомнил!

– Уходи, – сказала я и сползла на пол, туда, к Троллю, к его родному теплу. – Уходи, пока я тебя не убила. Ненавижу и желаю тебе смерти.

Он отшатнулся от меня.

- Смотри, - сказал он, - себе не накаркай. Знаешь ведь, как это бывает?

- А ты меня не пугай, - ответила я, изо всей силы прижимая к себе собачью голову (а Тролль, любимый, все понимал и только переводил глаза с Феликса на меня). - Не пугай меня, голубчик, поздно...

Он, видимо, взял себя в руки. Все-таки он бросал меня, да еще старую, безработную, выпотрошенную. И уходил к другой, с красивым грудным голосом, наверное, молодой и привлекательной.

- Я оставляю тебе квартиру, - сказал он. - Можешь делать с ней, что хочешь.

- Что? - взвизгнула я. - Ты мне оставляешь квартиру? А что я буду есть в этой квартире? Нашу кровать? Тумбочку?

- У меня нет денег, - ответил он. - Я отдаю тебе все, что у меня есть. - Он вынул из кармана плаща конверт и положил его на стол. - Тебе должно хватить на пару месяцев. А там посмотрим.

- Ты сказал Нюре? - спросила я.

- Нет еще, - ответил он и понурил голову.

Он понурил голову, как мальчик! Как провинившийся мальчишка!

- Я тебе не говорю, - сказал он, не поднимая головы (ах, какой гадкий спектакль!). - Я не говорю тебе: «Прости меня», потому что... Потому что мы сильно виноваты друг перед другом и вряд ли сумеем друг друга простить...

- Да, - сказала я, глядя на него снизу вверх (по-прежнему обнимала Тролля на полу). - Ты сильно виноват передо мной. И я тебя не прощаю.

Он криво усмехнулся:

- Меня прощать... Я с тобой хлебнул - во!

И сделал резкое движение ладонью по шее, словно отсекая собственную голову. Повернулся и ушел в кабинет, закрыл дверь.

Я не могла шевельнуться (точно как во сне со змеями!).

Минут через пятнадцать он вернулся, но уже с сумкой.

– Я сам поговорю с Нюрой, – сказал он. – Прошу тебя не вмешиваться.

Вот и все. Жизнь моя, как сказал поэт, иль ты приснилась мне?

Сказал и повесился. Значит, не приснилась.

Теперь о дочери.

Она странно отнеслась к отцовскому поступку. Через два дня после нашего «развода» (интересно, кстати, собирается ли он оформлять его юридически?) Нюра спросила меня:

– Мама, а вы с папой хоть когда-нибудь, хоть раз были счастливы?

– Конечно, – возмутилась я. – Очень были.

– Врешь, – жестко сказала она. – Не были. Я помню, что вы никогда не хотели больше детей. Я просила братика, а вы отмахивались.

– Не знаю, – сказала я. – Жизнь была непростая, вот и не хотели. Не знаю, не помню.

Все я помнила! Она, маленькая, кудрявая, требовала: «У Оли есть братик, почему у меня нет?»

А мы действительно отмахивались. У нас был формальный предлог: моя первая беременность (не хочу о ней сейчас!) так ужасно закончилась из-за предлежания плаценты. С Нюрой случилось бы то же самое, если бы это предлежание не обнаружили на третьем месяце и не положили меня на сохранение до самых

родов. Потом сделали кесарево. Врачи говорили, что такая аномалия всегда может повториться, раз она уже два раза имела место.

Но ведь не боли я боялась! И даже не потери ребенка! Я боялась, что этот ребенок родится уродом и – в отличие от того, первого, – выживет! С каким ужасом взгляд мой выхватывал в метро или на улице детей-уродов!

Как сейчас помню: зима. Из шестого подъезда выходит тихая пожилая женщина (а может, и не пожилая, горе старит). Рядом с ней – девушка в меховой ушанке. У девушки бессмысленное лицо, широко разинутый рот, тонюсенькие ноги и такие же тонюсенькие, дергающиеся руки в варежках. Она что-то мычит, выпуская струйку слюны на подбородок, и мать терпеливо останавливается, вынимает носовой платок, вытирает струйку... Идут дальше. По снегу, по холоду, среди торопливых пешеходов, которым до этой несчастной, зачем-то родившейся, зачем-то живущей – нет никакого дела!

Всякий раз, увидев их, я думала: а если бы это случилось со мной? О ужас!

Слава Богу, я здорова и молода. Моя Нюра спит на балконе в коляске. У нее не щеки, а яблоки, и ресницы такие густые, что на них, как говорят старухи во дворе, «спичку ложи – не упадет». Зачем же мне рисковать? Чтобы всю оставшуюся жизнь умываться слезами да еще потерять Феликса?

Ах, я не сомневалась, что он сбежит при первом же испытании! Он всегда был предателем, и я всегда боялась, что он меня обманывает, с самого первого дня! Одна моя ревность чего стоила! От ревности мне даже хотелось убить себя, лишь бы сделать ему больно! И один раз – страшный, один-единственный раз! – я действительно обезумела. Мы жили на даче: Нюра, девятимесячная, и я, а Феликс – молодой папаша, великий театральный художник! – бывал там наездами. Мне было скучно с грудным ребенком, быт – тяжелый, однообразный, лето дождливое. Вечерами приходилось топить печку на кухне, чтобы купать Нюру и успеть до утра высушить пеленки. Я просила Феликса как можно чаще приезжать к нам и по возможности ночевать здесь, а не в городской квартире. Он уклонялся и выполнял мою просьбу с большой неохотой.

Я ждала его во вторник, но во вторник он не приехал. Не приехал и в среду. В четверг утром я решила позвонить ему в город и поплелась на станцию под проливным дождем, толкая перед собой громоздкую коляску со спящей Нюрой.

Его не было в театре, и я испугалась. Дозвонилась его тогдашнему приятелю, быстро набирающему славу поэту, и спросила, не знает ли он случайно, где мой Феликс. Поэт весело ответил, что Феликс уехал на дачу еще во вторник и собирался пробыть в кругу семьи до пятницы. Я ахнула и тут же набрала наш домашний телефон, хотя никакой надежды застать его дома, разумеется, не было.

- Слушаю, - сказал он.

- Почему ты не на работе? - закричала я. (Было очень плохо слышно!)

- Я зашел на пять минут, - соврал он. - Мне нужно было взять один набросок.

Это, конечно, ложь. Он был в нашей пустой квартире с какой-то бабой, он жил там с нею все эти три дня - вторник, среду и четверг, - понимая, что я не потащусь на электричке с грудным ребенком проверять его, он был абсолютно уверен в себе и в своей власти надо мной, нисколько не любил меня, а женился только потому, что я умоляла.

Заливаясь слезами и толкая перед собою коляску, я вернулась домой, зажгла лампу - о, как неуютно было на этом сыром сером свете! - покормила Нюру и принялась ждать пяти часов вечера. Я знала, что он непременно приедет с пятичасовой электричкой, и, хотя не представляла себе, что именно сделаю, чувствовала приближение катастрофы. Вместо меня - рук, ног, головы, глаз - полыхала одна раскаленная злоба. В четыре тридцать выглянуло солнце, потеплело, заблестели мокрые деревья, небо стало голубым и доверчивым, в деревне за мостиком заголосил петух, и я - помню отчетливо! - посмотрелась в зеркало, прежде чем идти на станцию. Из зеркала на меня сверкнули чужие дикие глаза, насаженные над искаженной, совершенно неуместной улыбкой. Я взяла Нюру на руки и заторопилась. Через десять минут подошла электричка, я услышала, как она прогудела и прогрохотала, а еще через пять минут на тропинке, ведущей к дачам через мокрый луг, показались первые пассажиры, торопливо размахивающие своими портфелями и авоськами.

Он увидел, что я иду ему навстречу с Нюрой на руках, и приветственно поднял руку. Я остановилась, не дойдя до него, и со словами «получай!» бросила ему под ноги ребенка. До сих пор не понимаю, что это было со мной. В глазах сразу почернело, я опустилась на землю. Через секунду зрение вернулось, я увидела,

как очень бледный, трясущийся Феликс держит на руках зашедшую в беззвучном крике Нюру, а вокруг стоят люди. Еще через несколько секунд Нюрино беззвучие разрешилось непрерывным «а-а-а-а-а!», и Феликс побежал куда-то, даже не оглянувшись.

Незнакомая женщина в косынке наклонилась надо мной и заорала: «Падаль, блядь! Ты чего с ребенком сделала! Убить тебя мало, падаль!»

Я встала с земли и пошла домой. Я уже не думала и не помнила ни о себе, ни о нем. Я была уверена, что дочь моя умерла, и шла домой, только чтобы убедиться в этом. Я знала, что ни на секунду не останусь жить после ее смерти. Как это произойдет – неважно. Боль была такая, что казалось, будто я не дышу, а глотаю стекло.

Феликс сидел на крыльце, прижимая к себе тихо всхлипывающую Нюру. На меня он не смотрел.

Впоследствии мы никогда не вспоминали об этом. Очевидное потрясение было настолько глубоким, а взаимный ужас настолько острым, что нужно было или немедленно расстаться, или сделать вид, что этого не было.

Точно знаю – он меня не простил. Но вот рассказал ли он Нюре, как я бросила ее, девятимесячную, с размаху на землю?

28 апреля. Нюра вышла замуж. Я не шучу. Вчера вечером она позвонила и сказала так: «Мама, не удивляйся, я приду не одна».

Как будто я еще могу чему-то удивиться!

Через полчаса явилась с худым, высоким парнем. На вид лет тридцать. Глаза – мрачные. Густая черная борода, бритый череп. В руках чемодан и гитара.

– Мама, – сухо сказала Нюра, зрачки ее бегали. – Это Ян. Он будет жить с нами. Считай, что мы поженились.

Я прислонилась к стене, ноги подкосились. Парень угрюмо сказал «приветствую» и прошел на кухню, словно меня и не было. Она собралась

последовать за ним, но я прошипела «иди сюда», и она подчинилась. Не потому, что боялась меня, а потому, что не хотела начинать со скандала. Я втокнула ее в бывший кабинет бывшего мужа и закрыла дверь.

– Это что значит?

– Ничего, – небрежно сказала она. – Что именно тебя интересует?

– Как ты посмела? – задыхнулась я. – Немедленно выгони отсюда эту шваль, сию минуту!

– Не подумаю, – громко сказала она. – И не смей со мной говорить в таком тоне.

Я смотрела на нее, она на меня. Лицо ее было похоже на лицо Феликса и так же дышало ненавистью ко мне, жуткой, непонятной ненавистью!

– Ты не должна ни обслуживать нас, ни содержать, – сказала она. – Ян – музыкант, он хорошо зарабатывает. Квартира большая. Папа сюда не вернется.

Последнюю фразу она произнесла с каким-то даже сладострастием, другого слова не подберу. Она отчеканила каждый слог, сделав ударение на «не», словно уход своего отца от меня она, моя дочь, торжествовала как победу.

Тогда я распахнула дверь в столовую и закричала: «Троль!» Он тут же подбежал ко мне, виляя хвостом.

Собака, ты спасаешь меня. Кроме тебя, никого нет.

Нюра вдруг покраснела и погладила Тролля (обычно она не обращает на него внимания! Это – мое, а стало быть, многого не заслуживает!).

– Успокойся, – примирительно сказала она. – Я не обещаю тебе, что мы заживем, как в раю. Но можно обойтись без ада.

4 мая. Без ада не получилось. Мой зять, кажется, ненормален. Они с Нюрой ночи напролет занимаются любовью с таким треском, звоном и шумом, что притвориться, будто не слышишь, довольно трудно. Что он с ней делает, не

представляю. Потом они оба спят до двенадцати. Музыкант он, как я понимаю, аховый: играет на ударных инструментах. Я сказала, что дома прошу не репетировать, так как соседи заявят в милицию и правильно сделают. Нюра тут же возразила, что до десяти часов вечера можно хоть на голове ходить, никто не смеет и пикнуть. Хозяйничаем мы теперь порознь: у нее свое хозяйство, у меня свое. У меня – овсянка, компотик какой-нибудь, омлет из одного яйца с помидором. У нее – зеленые супы не поймешь из чего и окровавленные ростбифы. Сексуальный маньяк ест как слон, несмотря на свою худобу. Глисты, наверное. Солитеры. Откуда у «молодоженов» деньги, я тоже не понимаю. Вполне возможно, что он и зарезал кого-нибудь, ударник этот. В лице у него, кстати, есть что-то от нового русского, только разорившегося, ушедшего в подполье. Новый русский из неудачников. Неврастеник по Федору Михайловичу.

Что мне до него? Ведь это временная история. Поживут месяц-другой и разбегутся. Любовью от этого союза не пахнет. А чем пахнет? Ах, Боже мой, опасностью, вот чем! Хмельными деньгами, нечистой совестью. Муть, муть и муть. А может быть, у моей дочери просто бешенство матки? Иначе зачем ей эта горилла?

8 мая. Вчера мы с Троллем сбежали на дачу. Я думала провести там праздники, но вечером начался такой дождь и холод, что пришлось вернуться. Печка барахлит, тепла не держит. Несмотря на отвратительную погоду, народ хлынул за город. Все возятся на огородах. Все, кроме меня. Я никогда ничего не умела, никогда моя земля ничего не рожала.

Утром заметила через забор Платонова. Он истощал и зарос.

Сколько лет мы знаем друг друга? Сто лет, с детства. Помню, как он заболел полиомиелитом и у нас в доме началась паника: боялись, что я заражусь. Потом боялись, что он умрет. Но я не заразилась, а он поправился. Одна нога у него так и осталась короче другой. Платонов – фантастический человек, невероятный. Считается, что он математик, но я не уверена, чтобы математика хоть когда-нибудь приносила ему деньги. Окончив университет, Платонов какое-то время работал в школе, но вместе с теоремами преподнес детям несколько уроков опасного вольнолюбия, и его тут же уволили. Потом я надолго потеряла эту семью из виду, дача их стояла пустая, так как родители Платонова одновременно заболели, за городом жить не могли, и он ходил за ними, как нянька. Работал по ночам каким-то обходчиком, а днем ухаживал за двумя лежащими стариками. Распродавал семейную библиотеку, чтобы кормить их

рыночными овощами и фруктами. Один раз я увидела его в букинистическом магазине с авоськой книг. Принес на комиссию. Заметил меня и огненно покраснел от стыда. Потом справился со смущением, обнял меня, обрадовался. У меня уже была пятилетняя Нюра, и жили мы с Феликсом сравнительно мирно, хотя без большой радости. Я спросила Платонова, отчего он не женится. Он усмехнулся, сверкнув золотым зубом сбоку (я тогда первый раз увидела у него этот золотой зуб и поразились: как старик!).

«Не могу, – сказал он серьезно. – Родители».

Родители вскоре умерли. Один за другим, но каждый на руках у сына. Платонов бросил работу и начал читать. Кроме всего прочего, углубился в эзотерическую литературу и целыми днями просиживал в Ленинке. Жить ему стало абсолютно не на что, и кто-то из друзей посоветовал продать либо дачу, либо квартиру. От продажи дачи Платонов категорически отказался («Трогать нельзя, – сказал он, – детство!»), а квартиру продал. Его, разумеется, надули, да и квартира была очень средней, так что деньги оказались маленькими, и он тут же перевел половину этих денег двоюродной сестре в Архангельск.

Платонов увидел меня, просиял своими наивными, косыми глазами и подошел к забору.

– Ната, – сказал он, – солнышко, ты приехала?

– Ты почему так похудел? – спросила я. – Не жрешь ничего?

– Болею, – грустно ответил Платонов. – Давно, с осени.

– Чем?

– Да неважно, – отмахнулся он. – Идем ко мне чай пить.

В доме у него было тепло, перед иконой горела свечка, книги лежали повсюду, одна даже на плите, правда, незажженной. Он поспешно сунул куда-то эту книгу, поставил чайник, нарезал сыр, хлеб, переложил повидло из банки в стеклянную вазочку и начал нас с Троллем угощать. Тролль деликатно съел хлеб с повидлом из платоновской ладони и тщательно вылизал эту ладонь в знак

благодарности.

– Чудо, – сказал Платонов и радостно засмеялся. – Собака – чудо. Я бы тоже завел, да боюсь...

Он перестал смеяться и удивленно приподнял брови.

– Чего ты боишься? – спросила я. (На душе у меня стало светло и тихо, словно и там зажгли свечку!)

– Боюсь, что некому будет за этой собакой ухаживать. Мало ли как...

– Да что ты, ей-Богу! – воскликнула я. – Что ты все намекаешь! Что с тобой?

– Ничего, ничего, солнышко, – смутился он. – Показать тебе картинки?

Платонов всю жизнь любил рисовать, хотя никогда не мнил себя художником и никогда никому свои работы не показывал. Исключение он сделал только однажды для нас с Феликсом. Было это лет двадцать назад, когда Феликс очень удачно оформил пару балетов и ходил с задранной носом. Помню, как молодой, долговязый и нескладный Платонов, с круглым лицом и добрыми глазами, пришел к нам в какой-то гуцульской войлочной шапочке, долго хвалил Феликсовы декорации, а потом смущенно сказал, что хотел бы посоветоваться насчет своих картинок. Феликс накинул на левое плечо замшевую куртку (привез из Болгарии!), закурил трубку, и мы пошли смотреть картинку.

Я, конечно, сразу увидела, что Платонов не большой мастер. Писал он в основном пейзажи, но не реалистические, не с натуры, а то, что представлялось воображению. На пейзажах были диковинной синевы моря, причудливые горы с пронизанными солнцем вершинами, розовые фламинго, желтые, как хорошо заваренный чай, пустыни. И все же мне было приятно смотреть на эти полотна, потому что они напоминали самого Платонова.

Но Феликс! Он его уничтожил. Правда, дружески и от чистого сердца.

– Коля, – сказал Феликс, пыхтя трубкой, как Гайавата. – Ты хочешь, чтобы я тебе подпевал, или ты хочешь правду?

Платонов смутился до того, что на глазах его выступили слезы.

– Так вот, – продолжал мой безжалостный муж. – С точки зрения живописи это мазня.

– Я понимаю, – поспешно сказал Платонов, – но я думал, что с точки зрения...

– Другой точки зрения нет, – отрезал Феликс. – Вопрос лишь в том, предрасположен ли человек к тому, чтобы писать маслом на холсте. Или ему лучше заняться чем-то еще...

– Я понял, – пробормотал Платонов. – Это ведь для себя...

– Для себя – пожалуйста, – смиловался Феликс. – Для себя это совсем неплохо, особенно морские куски...

Троль, Платонов и я поднялись на второй этаж по темной скользкой лестнице и вошли в комнату, которую Платонов называет мастерской. Все ее стены завешаны картинами. Не берусь судить с «точки зрения живописи», как говорил мой бывший, но, кажется, одна вещь точно удалась. Ни гор, ни морей на ней не было, а было семь всадников в черных капюшонах. Всадники медленно двигались, но не по ровной поверхности, а словно бы забирая вверх, к невидимому небу. И люди, и лошади были почти бесплотны. За спинами у всадников торчали приклады, головы в черных капюшонах были низко опущены, а лошадиные морды, напротив, высоко и тревожно задраны, словно лошади чуяли впереди опасность.

– Молодец, – сказала я. – Как называется?

– Это называется, – замялся Платонов, – «Дорога на Страшный суд».

– Так это – мертвые? – спросила я. – Дорога-то после смерти?

– В общем, да, – сказал он. – Я, собственно, это имел в виду.

И тут я разрыдалась и закашлялась.

- Коля, - сказала я. - Миленький! Я с ума схожу.

Платонов испугался. Первым движением его было прижать меня к груди, но он остановился на полдороге.

- Ната, - спросил он осторожно, - что с тобой?

- Да что! - Слова расцарапали мне горло. - Что со мной? Никого нет - раз, старость пришла - два, смерть не за горами - три! Мало?

Он хотел что-то сказать, но не решился.

- Если ты мне посоветуешь верить в Бога, или надеяться на лучшее, или еще что-то в этом роде, - я повысила голос, словно Платонов был виноват в моих несчастьях, - если ты мне что-то подобное скажешь, я сейчас же уйду!

- Но в Бога действительно нужно верить, - прошептал Платонов. - Иначе что же?

- Ах, я не знаю! - закричала я. - Только ты мне не устраивай сцену из романа «Братья Карамазовы»!

- Когда писались «Братья Карамазовы», - сказал он, - овец не клонировали и младенцев не выводили в пробирках. Времена были невинными...

- Каких овец? - простонала я.

- Ну, как? - задумчиво сказал он. - Тех, которые тоже будут на Страшном суде. Вместе с экспериментаторами. Ната! Ты что, не видишь, какое подходит Время? (Пишу слово «Время» с большой буквы, именно так он произнес!)

- Время - чего? - спросила я.

- Я думаю, конца света, - ответил Платонов. - А как же иначе понять эти приметы?

- Коля! - вздохнула я. - Что ты, ей-Богу! Поговори со мной просто!

– Но, Наточка! – испугался он и затряс бородой. – Куда уж проще! Вот ты говоришь «моя жизнь» или «его жизнь», а ведь отдельно от общей жизни ничего нет! А скажи мне: что произошло с общей жизнью в нашем веке и почему я лично думаю, что скоро конец?

– Что произошло? – спросила я.

– В нашем веке впервые появилась цена. – Он ярко покраснел и запнулся. – Цена на человека.

– Не поняла, – удивилась я. – А во времена крепостничества?

Платонов замахал руками:

– Да при чем здесь деньги! Это другая цена! В нашем веке впервые пришло в голову использовать человека как материал, понимаешь? Использовать его телесно, извлекать пользу из его кожи, волос, костей! Вот я о чем! Ведь что делали немцы в лагерях? Ты скажешь: массовые убийства, камеры, холокост! Да, да, да! Но ужас в другом! Массовые убийства были и до немецких лагерей! Но посмотреть на человеческую кожу, как на кожу крокодила, из которой можно сделать сумку, – вот этого не было! Вот куда пробрался дьявол!

Платонова колотила дрожь.

– Ната, – простонал он и схватился обеими руками за голову. – Ната! Он подбирался к нам долго-долго, то с одного боку, то с другого, но никогда, ни в одной цивилизации ему не удавалось того, что нынче!

Я уже жалела, что начала этот разговор. У меня на него нет ни сил, ни здоровья. Троль уловил мое настроение и посмотрел вопросительно. «Уходим? – сказал его взгляд. – Или еще побудем?»

– Все! – кричал седой и заросший друг моего детства, с которым мы лет пятьдесят назад ели незрелый крыжовник и играли в прятки. – Они скоро начнут выводить людей! Я читал, что в одном корейском университете уже начали такое клонирование! Они уже поместили человеческую клетку в пробирку, и она принялась развиваться! Тогда они ее уничтожили, потому что еще не знают, что

с этим делать! Но скоро они узнают, скоро они узнают! Хотят отнять у человечества самую великую тайну! Тайну жизни и смерти! Но без этой тайны мир перестанет существовать! Он рухнет! Ты понимаешь? Любой идиот, у которого есть деньги и который больше всего на свете боится физической смерти, сможет заплатить, и для него выведут живое существо, в точности повторяющее его генетику!

- И что? - спросила я.

- Как - что? - расширил глаза Платонов. - Как - что, Ната? Ты понимаешь, как это делается? Берут одну клетку и удаляют из нее всю генетическую информацию, потом берут другую, сохраняя информацию, - и соединяют их! И вживляют это соединение куда угодно: в женщину, в пробирку! Получается существо! Человек! Но он заказан другим человеком на случай пересадки сердца, например! Или почек! Потому что его генетика точно повторяет генетику заказчика! Ты чувствуешь идею?

- Ну? - спросила я. - Чем это отличается от опытов доктора Фаустуса?

- По большому счету - ничем, - ответил Платонов. - Но ты ведь помнишь, кто пришел к доктору Фаусту?

- Ах, Коля, - усмехнулась я (мне хотелось свести все к шутке). - Я, например, к тебе пришла чаю попить, а ты меня пугаешь...

- Ничего нет, - умоляюще сказал Платонов, не слушая. - Солнышко мое! Ничего нет дороже жизни! Маленькой жизни! Не только человеческой, а вообще! Вот ты посмотри на него, - и он быстро дотронулся до головы Тролля дрожащей ладонью, - ведь тебе не важно, как он называется: собака, кошка, хорек! Ведь ты любишь конкретно его! И ты не допустишь, чтобы из него сделали шапку!

...Мне вдруг вспомнился летний день. На ладони у меня неподвижно лежит толстая, словно бы меховая серая бабочка. Мы с Платоновым - оба семилетние - смотрим на эту бабочку и ждем, пока она оживет. Но бабочка не шевелится, значит, умерла.

- Положи ее сюда, под дерево, - просит Платонов. - Здесь будет ее могила. Жаль, она была совсем молодой.

Я кладу мертвую меховую бабочку под дерево, и Платонов накрывает ее листком.

Потом мы забираемся в недостроенный сарай, где темно и прохладно, стоит верстак, с которого свисают локоны вкусно пахнущей стружки... Издалека доносится голос точильщика: «Точить ножи-ножницы! Точить ножи-ножницы!» Я боюсь этого точильщика, худого старика с тяжеленным колесом на плече, из которого сыплются искры.

- Мы не вернемся домой, - вдруг говорит мне маленький Платонов, - если они не дадут нам честного слова никогда никого не обижать. Ни детей! Ни кошек, ни мух, ни гусениц, ни вообще никого!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/murav-eva_irina/dnevnik-natal-i

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)